ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Светлое будущее России

Моск. новости. – 1993. – 28 марта (№ 13). – с. B5

МЕКСИКА ПОД БОКОМ

Мексика настолько под боком, что глупо туда путешествовать — так, слетать окунуться. Из двух стран американского ближнего зарубежья Мексика, бесспорно, на неуважительном втором месте по всему, кроме климата.

Канада тоже не считается заграницей: это более или менее Штаты, провинциальные Штаты. Но Мексика и на такое не тянет. Это нелегальные эмигранты, нефть, курорт Акапулько, текила, лепешки такос, серебро, пирамиды, песни. Для выходца из России — еще знакомые названия древних племен и городов: чичимеки, Тула, Чичен-Ица.

На русских здесь реагируют позитивно, хотя нас с женой называли «нострес инглезе компаньерос», похоже на титул. Но это имелся в виду язык общения, тема же всегда Россия. «Правда, что у вас на гробнице Ленина написали имя Вероники Кастро?» Объяснять про эмиграцию долго, соглашаюсь: правда. «А у нас ее считают плохой актрисой!» Реагирую: «А у нас ее принимал госсекретарь». Тут сбегаются все: «Что же вам так нравится?» Отвечаю: «Нравится, что богатые тоже плачут». С пониманием обнимают: «О, русские такие сенситиво!»

Это я слышал все время. «Вы должны любить «Палому»!» — и идут на тебя втроем с гитарами наперевес, крепко топая высокими каблуками, глядя в глаза. Страшно, но подтягиваешь, раскачиваясь в соломенном кресле с неизменной «Маргаритой» в бокале: сказали — значит, надо.

На бое быков, где столичная индейская толпа сменилась почти кастильской, соседка в мантилье изумилась: «Разве русским может нравиться коррида? Они же сенситиво!» Вспоминаешь наставления Хемингуэя — фиесты, памплоны, полувероники, а перед тобой настоящая драма. И 50-тысячный стадион единым дыханием и голосом ведет мулету: «Оле-е!» И все вдруг синхронно вскакивают: «Мата ло! Убей его!» И жена потом рассказывает, что и ты не хуже — встрепанный, красный, безумный вроде Мусоргского с репинского портрета. А перед решающим ударом все 50 тысяч разом: «Ш-ш-ш-ш!» и еще укоризненно грозят друг другу пальцами, шелестя оглушительным шепотом: «Ш-ш-ш-ш!» Не помню, чтобы я когда-нибудь был так взволнован. Все-таки мы, русские, очень сенситиво.

ГОРОД ПЕРМАНЕНТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Все плохое о Мехико известно. 20 миллионов, самый высокогорный из мегаполисов, лежит в котловине, в природных испарениях, дыме заводов и автовыхлопах. Бросать курить тут глупо, а некурящие чувствуют себя обманутыми. По краям километрами тянутся конструкции, крытые цветом грязного тумана. Людей снаружи нет, и не хочется думать, что они могут быть внутри. Все это глотаешь, если хочешь посмотреть, например, украшенный монументалистами университет и сядешь в такси — «Фольксваген» без передней двери для удобства посадки и проветривания. Хотя какая там вентиляция, если натуральная среда — нервно-паралитический газ: зарин, зоман, табун. В табуне маленьких автомашин несешься час вдоль серой жести — к грандиозным фрескам Риверы, Сикейроса, О'Гормана.

Малевичу, Лисицкому, Шагалу давали развернуться в масштабах какого-нибудь Витебска. Ривере, Сикейросу, Ороско и их друзьям дали на роспись огромную страну. Они сделали дело красиво и капитально, и Мехико стал самым революционным городом мира. Жизнь под фресками, талантливо рисующими гнусность угнетателей и рабство рабочих, сложила особый этикет. На уровне риторики Мексика — социалистическая страна. Здесь до сих пор лучшая похвала деятелю — революционер. И нынешний президент Карлос Салинас де Гортари — «подлинный революционер». Термин выскакивает как бы сам собой, вроде постоянного эпитета с общепозитивной окраской.

Не случайно носитель идеи «перманентной революции» Троцкий обрел покой в Мексике. Покушения и насильственную смерть вроде нельзя назвать покоем, но это слово приходит в голову в последнем жилище Троцкого: кроличьи клетки и клумбы в саду, уют в доме. Только на стене дыры — говорят, следы пуль: Сикейрос промахнулся. Верно учил Суворов и учел Меркадер: пуля дура, ледоруб молодец. Среди агав — надгробие с серпом и молотом. Из посетителей еще лишь бесшумные японцы в тапочках для смертельных видов борьбы. Тишина. В бывшем дровяном сарае тихо взвизгивает у телевизора сторож.

Странно, что революция не вызвала такой же идиосинкразии у мексиканцев, как у нас. Может быть, дело не в историческом опыте, а просто в темпераменте?

«А что, в Соединенных Штатах сейчас нет никакой войны?

— Нет.

— Никакой, никакой войны? Как же вы в таком случае проводите время?»

Это диалог из яркой и живой книги Джона Рида «Восставшая Мексика». Удивительно, что Рид с разницей в четыре года написал такие неравные вещи: «Десять дней, которые потрясли мир» — это набор штампов. Вероятно, дело в том, что испанский язык он знал, а русский нет.

Кстати, только разобравшись в мексиканской революции, можно догадаться, что это за «десять дней», никем больше, кроме Рида, не отмеченные. *Decena Tragica* — «Трагическая десятидневка» — веха истории: в феврале 1913 года Мехико был охвачен войной и заговорами, а власть менялась по часам. Джон Рид перенес исторический образ из одного полушария в другое — получилось неверно, но красиво.

МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ КОМИКС ДИЕГО РИВЕРЫ

Политики уходят, а фрески остаются. Остается и вопрос: возможно ли великое искусство на службе идеологии?

Соблазнительно счесть эстетику первичной, но монументальную пропаганду затеяли не Ривера с Сикейросом, а министр образования Васконселос. Не революция призвала их, а чиновники.

Диего Ривера вообще твердо знал, что и за-

Маяковский. Рисунок Диего Риверы

дартным молодцом в жабо, превратился в мерзкую руину с вывороченными коленями и фиолетовым лицом.

Время от времени Ривера отстегивал портупею с пистолетом, которую считал нужным носить, и рисовал для души — белые каллы, автопортреты, женщин с гитарными задами. Тогда он, вероятно, ощущал некоторую неадекватность образа и брался за перо: «Коль скоро работа обладает формальным качеством и тема, взятая из окружающей действительности, представляет интерес для пролетариата, она служит делу революции». Женщина с большим задом не чужда пролетариату, и Ривера настаивал: «Если художник — рабочий в широком классовом смысле слова, то что бы он ни изобразил — портрет или букет цветов, картина будет революционной. И напротив, если буржуазный художник представляет даже торжество революции, это все равно будет буржуазная картина».

Такое кредо позволяло Ривере, храня партбилет (лишь обновляя: из компартии он дважды выходил, а вступал трижды), работать на капиталистов. Забавно, но никогда он не получал заказов из соцлагеря. В 1927-м заключил, было, договор с Луначарским на роспись клуба Красной Армии, но помешали нездоровье и интриги русских коллег.

Американские коллеги не интриговали. Американские заказчики платили. Первую свою пролетарскую фреску Ривера создал на сан-францисской бирже. Лучшую — на фордовских заводах в Детройте, получив заказ от друга — сына Генри Форда. Гармония отношений коммуниста с капиталистами нарушилась лишь в 1933 году, оставив Нью-Йорк без фресок Риверы. Роспись Рокфеллер-центра подхо-

чем в данный момент намерен создать. Его исторический позитивизм отражен буквально в рядах картинок, похожих на монументальный комикс или на учебник истории для неграмотных. Его верность марксистской диалектике наглядна в композициях: слева — буржуи, тьма, кровь, разврат, справа — пролетарии, солнце, цветы, труд.

Когда Ривера в Национальном дворце изображал колонизацию страны испанцами, исследования останков Кортеса показали, что тот страдал туберкулезом, артритом и сифилисом. И Кортес, только что бывший у Риверы столь жестко, что показалось: так не было никогда. Было по-другому, но похоже. Задолго до статьи «Сумбур вместо музыки» Мусоргский переписывал «Бориса», как Фадеев — «Молодую гвардию», уступал идеологии: народнической — в «Хованщине», христианской — в «Ночи на Лысой горе».

Ривера же и Маяковский, приспособившиеся добровольно, нарушают стройную схему противостояния поэта и царя. Может быть, тенденциозный гений уже не тенденция? И если прославлять неправое дело великими стихами и картинами, то и останутся лишь великие картины и стихи?

ПЕРЕЧИТЫВАЯ МАЯКОВСКОГО

Комплекс бедного соседа одолевает Мексику, и новое соглашение о свободной торговле между Штатами, Канадой и Мексикой лишь прибавляет досады. Официанты жалуются: «Перейдем с такос на гамбургеры». Газеты пишут: «Станем богаче, но потеряем самобытность». Проблема, похоже, во многом надуманная — хоть и не так, как в России, где патриоты протестуют против «Макдоналдсов», а в столовых еще не знают, что в котлеты идет и мясо.

Я перечитал Маяковского и убедился, что утрата самобытности волновала мексиканцев и раньше: «Буржуи все под одно стригут. Вконец обесцветили мир мы». Еще интереснее сравнение: «Две Латвии с двух земных боков — различные собой они лишь тем, что в Мексике режут быков в театре, а в Риге — на бойне». Ей-Богу, не только этим — ручаюсь как рижанин, побывавший в Мексике.

Пафос — Маяковского или официантов — вроде убедителен. Но его всевременность убеждает в его несостоятельности. На иностранное засилье жаловались все и всегда, но Мехико не стал Ригой, и Тимониха не превратится в Мидлтаун, штат Коннектикут, пусть Василий Белов не боится. «Россия без поэзии российской была бы как огромный Люксембург», — написал Евтушенко. Во-первых, сейчас такая гипотеза опасна: как бы поэтов не стали вешать на фонарях, чтобы поскорее в Люксембург превратиться. В-главных, до такой нивелировки не дойдет никогда. Уже Дания отличается от Германии — что уж брать Россию или Мексику. Вот между ними что-то общее улавливается — в перспективе.

Мексика с ее 90-миллионным населением, огромным процентом занятости в сельском хозяйстве, комплексом по отношению к богатым соседям, слабостью среднего класса, ностальгией по славному прошлому, с ее культурным потенциалом, заметной интеллигенцией и установкой на духовные ценности вполне сравнима с Россией. Можно сказать и определеннее: Мексика — светлое будущее России.

С известными поправками, разумеется, все на ту же самобытность. Сходство на уровне геополитическом — это возможно, на человеческом — никогда. Человек в кирзовых сапогах и кепке с пуговкой, с бутылкой портвейна в кармане тесного пиджака, с небритым лицом и тревожным взглядом, знакомый, родной и близкий человек — разве он не загадочнее любого ацтека? Ни на кого мы похожи не будем, даже друг на друга.

Петр ВАЙЛЬ